



Ханна ГРИН

Мистер Набоков

В конце второй мировой войны и в течение трех или четырех лет после нее Владимир Набоков работал в Уэлслейском колледже, где я тогда училась. Он преподавал русский язык, начиная с самых элементарных основ грамматики (ибо Набоков один представлял собою в колледже всю кафедру русского языка), и читал общий курс русской литературы — так называемый курс № 201. Именно на этот курс я и записалась, когда училась на третьем курсе. Я уже не помню, какому счастливому случаю я была обязана этим решением — может быть, я знала, что если запишусь на этот курс, то мне действительно придется прочесть «Войну и мир» (за год до того я взяла эту книгу с собой в долгое летнее путешествие на каноэ, ее всю промочил дождь, а мне удалось одолеть не больше первых пятидесяти страниц). Возможно, дело было в том, что Труакс, моя подруга, которая на первом курсе изучала русский язык, утверждала, что после трех месяцев занятий единственное, что она могла сказать по-русски, была фраза «моя красная бабушка»: в семнадцать лет это мне казалось ужасно забавным. Во всяком случае, в течение всех лет моего обучения в колледже я руководствовалась девизом: «Выбирай курсы лекций в зависимости от профессора» — а у мистера Набокова была особая репутация незаурядного преподавателя: курс № 201 слушало более ста девушек.

Набокову было тогда лет сорок пять, и как писатель он еще не пользовался в Соединенных Штатах почти никакой известностью. У меня была книжка в синей обложке под названием «Девять новелл», выпущенная издательством «Новые направления» («Нью дирекшнс»). На обложке стояла большая буква «Н», обозначающая то ли «новеллы», то ли фамилию Набокова, — и я таскала эту книжку с собой и время от времени заг-

лядывала в ее таинственные страницы. Мне нравилось то ощущение, которое вызывала эта книга: она казалась мне экзотической. В те годы я не имела ни малейшего представления ни об «Отчаянии», ни о «Подлинной жизни Себастьяна Найта»; я даже не видела книги Набокова о Гоголе, которую я обнаружила и прочла лишь четыре или пять лет спустя одновременно с книгой воспоминаний «Неопровержимое доказательство» (позднее изданной под заглавием «Память, говори»; на русском языке книга называется «Другие берега»). Обе эти книги привели меня в бурный восторг.

Однажды вечером, в ту зиму, когда мы слушали курс № 201, мистер Набоков прочел нам некоторые из своих стихов. Я помню, как это всех взволновало: в большой, полутемной, нагретой аудитории, в дальнем ее конце, стоял мистер Набоков (я пришла поздно и сидела в одном из последних рядов), и лицо его было освещено лампой, стоявшей на кафедре. В аудитории царил какая-то необычная атмосфера, приличествующая торжественному событию. Здесь же была и жена Набокова; она сидела в первом ряду, в самом центре. Я видела ее затылок — затылок женщины, которой были посвящены любовные стихи Набокова, — и время от времени, в паузах между стихотворениями, я слышала, как шелестела бумага и как он быстро переговаривался с женой.

И однако, знакомясь при его помощи с русской литературой, мы все еще не думали о нем как о прозаике или как о поэте, хотя мы, разумеется, знали, что он пишет и прозу, и стихи, и что его считают выдающимся писателем. Для нас он был всего лишь мистером Набоковым, нашим преподавателем, и он казался нам ярким и незаурядным. Он ослеплял нас и внушал нам чувство какой-то экзальтированной страсти — не к нему, а к русской литературе, к истории и к самой стране (к ее географии), с которыми, как он доказал нам, русская литература неразрывно связана.

Вместе с Сарой Джонс, моей лучшей подругой, мы раньше других убегали из столовой корпуса «Биби-Холл» и радостно, вприпрыжку мчались всю дорогу вниз с холма, пока не добирались до узкой тропинки, которая вела к корпусу «Сэйдж», где в большой аудитории мистер Набоков читал свои лекции. Нам нравилось взбираться по бревенчатым и земляным ступенькам этой тропки, пробежать мимо большого старого дуба, а затем обогнуть все здание, чтобы попасть к главному входу как раз в ту минуту, когда туда входил мистер Набоков, так что мы там могли с ним поздороваться.

Он был высокого роста, полный и немного нескладный, с сухой, красноватой, обветренной кожей крупного лица с правильными чертами. Высокий лоб его бороздили морщины. Мистер Набоков производил впечатление спокойного, уверенного в себе, мужественного человека. От него приятно пахло табаком, в нем ощущалась врожденная деликатность и естественное аристократическое достоинство: и, как я понимаю, он был первым в моей жизни преподавателем, который чувствовал себя в литературе как дома, потому что он сам был ее частью.

Я словно сейчас вижу, как он неподвижно стоит около корпуса «Сэйдж» в солнечном свете холодного зимнего дня, одетый в красивый коричневый твидовый пиджак, с шерстяным шарфом вокруг шеи, — ибо никогда, даже в самые морозные дни, мистер Набоков не надевал пальто. Это была самая интимная подробность, которую мы о нем знали, — это, да еще то, что временами его мучили головные боли, и тогда вместо него в аудиторию приходила его жена и читала нам подготовленную им на этот день лекцию.

Она была хороша собой, с длинными, густыми, блестящими седыми волосами, доходившими ей почти до плеч, и очень нежной, ослепительной бело-розовой кожей. Она читала с иностранным акцентом его лекции старательно и медленно; слова, которые, как ей казалось, могли представлять для нас трудности, она выписывала на доске огромными, в добрый фут высотой буквами. А потом дня через два он снова появлялся на кафедре, но, как нам казалось, не читал лекции, а по душам беседовал с нами: все, о чем он нам говорил, звучало, словно ему только что каким-то чудесным образом пришло в голову сообщить именно в этих словах, а не иначе.

А как он говорил! Как прекрасно он говорил! Я слышала каждое произнесенное им слово и старалась успеть записать как можно больше. В те годы мне приходилось ужасно трудно, потому что обычно — хотя я яростно с этим боролась — как только начиналась лекция или семинар, мои мысли вылетали куда-то через окно и повисали на деревьях, вне пределов слышимости, а я предавалась мечтам, о чем только душа желала. И как я ни пыталась держать голову прямо, менять позу, щипать себя, поддерживать веки пальцами — я никак не могла сосредоточить свое внимание на том, что происходило в классе. Но на лекциях мистера Набокова этого не случалось. Тут мои мысли все время оставались в аудитории, и я была в состоянии

инепрерывного восторга. Даже сейчас я помню некоторые сравнения мистера Набокова. О тургеневских фразах он говорил, что они «длинные и ползучие, и они закручиваются к концу, как хвосты ящериц». Он рассказывал нам, что Тургенев первым изобразил крепостных, которые по своим нравственным качествам были выше своих господ (и за это Тургенева посадили под арест, а потом выслали на жительство в его имение); и Тургенев первым сумел хорошо писать о маленьких детях и собаках — о том, как собаки улыбаются, и о том, как собаки ложатся на землю.

Мистер Набоков говорил:

— Читайте и мечтайте, вглядываясь в унылые чеховские пейзажи, которые навевают чувство грустного очарования, — пейзажи, которые напоминают серые одежды, развешанные на серой покачивающейся бельевой веревке на фоне серого неба.

И еще он говорил:

— Чеховский мир — сизо-серого цвета.

И мистер Набоков описывал «прозрачно-голубой мир» — чей же это был мир? Может быть, Ломоносова? Мистер Набоков рассказывал слишком много, и моя память не в состоянии была всего этого удержать; и хоть мой мозг жадно впитывал все, что мистер Набоков говорил, запоминала я, видимо, прежде всего забавные вещи, которые он говорил шутки ради. Он мог с глубочайшей и изящнейшей серьезностью читать лекцию и вдруг неожиданно вспомнить, что мы — студентки колледжа и что нам поэтому следует иметь четкое представление о «мире» каждого писателя, чтобы этого писателя лучше запомнить. Все, что говорил нам мистер Набоков, было озарено вспышками его собственного своеобразного гения, и он делился с нами светом своих знаний — теми подробностями, которые ему нравились.

Он говорил нам, что произносит «Евгений Онегин» скрупулезно по правилам английского языка как «Юджин Уан Джин» (что означает «Юджин, один стакан джина»). Он медленно и тщательно анализировал перевод «Юджина Уан Джина», помещенный в нашей хрестоматии, и поправлял переводчика, давая нам верный перевод некоторых строчек. Мы записывали эти строчки в книге карандашом. Так он велел нам. Он говорил, что из всех русских писателей Пушкин больше всего теряет в переводе. Он говорил о «звонкой музыке» пушкинских стихов, о чудесном их ритме, о том, что «самые старые, затертые эпитеты снова обретают свежесть в стихах Пушкина», ко-

торые «бьют ключом и сверкают в темноте». Он говорил о великолепном развитии сюжета в «Евгении Онегине», которого Пушкин писал в течение десяти лет, о ретроспективной и интроспективной хаотичности этого сюжета. И он читал нам вслух сцену дуэли, на которой Онегин смертельно ранил Ленского. По словам Набокова, в этой сцене Пушкин предсказал собственную смерть.

Как-то мистер Набоков нарисовал на доске схему, так что мы могли точно увидеть форму и размер места поединка, на котором Пушкин был убит французом Дантесом. Мистер Набоков объяснил, как происходила дуэль. Он воссоздал атмосферу этой дуэли — морозный январский день (27 января 1837 года) на опушке в предместье Санкт-Петербурга. Уже смеркалось. Берега замерзшей Невы были покрыты снегом, и жена поэта, которая своей ветреностью стала косвенной причиной дуэли, уехала кататься на санях. Это была поразительная красавица, мадонна с раскосыми глазами, легкомысленная, пустая, любящая пофлиртовать, холодная, равнодушная к пушкинским стихам и пользовавшаяся шумным успехом при дворе, где Пушкин вынужден был вращаться, ибо царь Николай I решил самолично стать цензором Пушкина. Хотя Пушкин никогда не выезжал из России, он вдоволь хлебнул горечи изгнания, сказал нам мистер Набоков. Пушкин думал и писал, что гнет со стороны власть имущих делает писателей изгнанниками. Пушкин ненавидел деспотизм царя и общественного мнения.

Мистер Набоков объяснил нам, кто были секунданты и в чем заключались их функции. Он изобразил на доске «барьеры», которые были отмечены брошенными на снег шинелями, и рассказал, как Пушкин и Дантес (который раньше волочился за женой Пушкина, а меньше чем за месяц до поединка женился на ее сестре) приближались друг к другу, от дистанции в двадцать шагов, с заряженными пистолетами в руках. Было ровно половина пятого. Дантес выстрелил первым, и Пушкин упал, смертельно раненный в живот. Однако он сумел подняться, потребовал Дантеса к барьеру и выстрелил. Пуля ранила Дантеса в руку, и тот упал, а Пушкин, думая, что убил противника, воскликнул: «Браво!» Спустя два дня Пушкин, величайший из русских поэтов, умер. Ему было 37 лет. Ночью его тело в гробу было увезено в монастырь вдали от Петербурга.

Недавно, читая комментарий мистера Набокова к «Евгению Онегину», я обнаружила, что он в своих лекциях опускал некоторые детали, приведшие к дуэли, видимо, считая их неподходящими для девичьих ушей.

В начале второго семестра мистер Набоков сообщил нам, что он расположил русских писателей по степеням значимости и что мы должны записать эту систему в наши тетрадки и выучить ее наизусть. Толстой был обозначен «5с плюсом», Пушкин и Чехов — «5», Тургенев — «5 с минусом», Гоголь — «4 с минусом». А Достоевский был «3 с минусом» (или «2 с плюсом», я точно не помню). Со временем мы сумели понять, что лежало в основе оценок мистера Набокова.

Он говорил:

— Тот, кто предпочитает Достоевского Чехову, никогда не поймет сущности русской жизни.

Он не говорил о конфликтах или о символах, или о развитии образов. Он вообще не говорил о вещах, о которых обычно рассказывают на лекциях по литературе. Он не пытался заставить нас формулировать основные идеи произведений и тому подобное. Он не заставлял нас рассуждать о темах. Он никогда не превращал чтение в тоскливую обязанность. Он говорил о том, что некоторые персонажи у Гоголя возникают на страницах его книг, а потом бесследно исчезают и никогда более не появляются.

— Как это очаровательно! — восклицал мистер Набоков и читал нам вслух пассаж о каком-то голубоглазом краснолицем приставе, который появился на какой-то странице нашего издания «Мертвых душ» и тут же канул в вечность.

О Чехове мистер Набоков говорил:

— Ни один писатель не создавал столь патетических образов.

Он говорил:

— Учите наизусть такие рассказы, как «В овраге», «Дуэль», «Дама с собачкой».

«Дама с собачкой» мистер Набоков разбирал с нами в течение нескольких дней, указывая на те места, которые нам надлежало особо отметить, ибо они характерны для творчества Чехова. Подводя итоги, мистер Набоков говорил нам:

— Во-первых, обратите внимание, как рассказана эта история — самым естественным образом, медленно, без перерывов, приглушенным голосом. Во-вторых, обратите внимание, как путем отбора и распределения мелких подробностей создается индивидуальный образ. В-третьих, обратите внимание, что в рассказе нет ни морали, ни проповеди. В-четвертых, обратите внимание, как движение сюжета в рассказе основано на системе колебаний, на нюансах того или иного настроения. Заметьте, что прозаический и поэтический метод противоположны друг другу. Для Чехова и возвышенное и низменное свидетель-

ствуют о красоте и жалостном состоянии мира. В-пятых, обратите внимание, как рассказчик отступает от своего повествования и упоминает о пустяковых деталях, которые не важны для развития сюжета и не имеют символического значения, но существенны для создания общей атмосферы. И, наконец, в-шестых, обратите внимание, что история не досказана до конца. Финальная сцена насыщена пафосом. Двое любовников — это нежнейшая пара, преданнейшие друзья. В типично чеховском рассказе нет развязки — сюжет бледнеет, расплывается, как жизнь; конца нет, ибо, пока идет жизнь, невозможно разрешить все земные заботы.

Мистер Набоков рассказывал нам, каким привлекательным, каким мягким и простым человеком был Чехов. Он любил искренних людей. И все любили его. Радикалы критиковали Чехова за то, что он не борется активно за их дело, но Чехов был художником, индивидуалистом; он служил народу и его интересам на свой собственный лад. В 1890 году Чехов поехал на Сахалин и написал о том, какие там ужасные условия жизни. Толстой нежно любил Чехова.

Мистер Набоков рассказывал нам о том, какую роль играет Время в романе Толстого «Война и мир». Толстой создал точную иллюзию Времени. Толстой задавался целью, чтобы часы в повествовании шли в одном ритме с часами читателя, и таким образом он достигал идеального ритма.

Мистер Набоков говорил о женщинах у Толстого:

— Какие это замечательные женщины! Внимательно наблюдайте за ними. Постарайтесь представить их себе как можно ярче.

Мистер Набоков говорил о семье Ростовых, о Наташе, прообразом для которой Толстому послужили его жена, а также ее сестра; говорил о Соне, чьим прототипом была Волконская, тетка писателя. Мистер Набоков говорил о князе Андрее и о Пьере Безухове. Князю Андрею Толстой отдал свою собственную энергию, решительность, самобытность характера, но в Пьера он вложил свою душу.

Мистер Набоков рисовал Толстого как страстного моралиста, одержимого поисками истины. Иногда для того, чтобы следовать за Толстым, читателю приходится делать над собой усилие, заставляя себя читать дальше: ибо, как говорил мистер Набоков, «русская истина — не очень приятный спутник: это не каждодневная правда, а воистину бессмертная Истина, которая есть сама душа всего того, что истинно. И если Истину удастся отыскать, она придает творческому воображению

блеск и величие». (Слова «правда» и «истина» мистер Набоков произносил по-русски.) Ни один писатель не умел так сочетать творческую истину и образы людей, как это сделал Толстой в «Войне и мире». Сам Толстой в этой книге невидим. Подобно Богу, он везде и нигде.

Толстой подсознательно был на верном пути, говорил мистер Набоков. Но Толстой воспринимал окружающее острее, чем большинство людей: он обладал сверхчувствительным, сверхчеловеческим сознанием, и потому в конце концов его совесть заставила его бросить художественную прозу. Он не мог позволить своей совести заключить сделку с более низменными чертами его натуры, и он страдал от этого. Он считал свое творчество нечестивым, ибо в основе его лежало воображение. Именно когда он достиг писательского совершенства, он решил перестать создавать художественные произведения. Он пожертвовал художником в себе ради философа. Он заявил, что все, написанное им прежде, было ложью, ибо творить может только Бог. Но в душе Толстой остался художником, и к концу жизни он не смог удерживать в цепях свою необоримую потребность творить. В последних его вещах нет нарочитого морализирования. Он понял, что истину нельзя проповедовать, ее надо открыть.

Толстой, рассказывал нам на лекциях Набоков, хотел написать продолжение «Войны и мира», хотел продолжить повествование о Пьере, Наташе, об исторических событиях. Пьер должен был стать декабристом. Толстой, помнится, написал черновой отрывок, в котором рассказывалось, как Наташа отправляется вслед за осужденным Пьером в Сибирь. Оттуда она возвращается уже старухой. Устремив в пространство взгляд своих черных глаз, она сидит у себя в комнате, отдыхая от прожитой ею жизни-любви. Теперь ей уже нечего больше ждать. Во всем этом есть величие, красота, любовь. Толстой вплетает в русскую жизнь небесные розы.

Так говорил мистер Набоков. Иногда он читал нам стихотворение по-русски и просил нас вслушиваться в звучание стиха, которое, как он говорил, невозможно передать в переводе. Он читал нам вслух некоторые стихотворения Фета, а затем свои переводы этих стихотворений.

— Подлинная музыка стиха — это не мелодия стиха, — говорил мистер Набоков. — Настоящая музыка стиха — это та таинственность, которая изливается из рационально обдуманной поэтической ткани строки.

Мистер Набоков говорил о великом лирическом поэте Тютчеве, которого забыли на многие десятилетия из-за его консервативных политических убеждений (Тютчев не слишком хорошо разбирался в политике), но который видел сам и умел заставить своих читателей видеть «тусклым сияньем облитое море». Мистер Набоков говорил о блистательном и до мозга костей русском гении Тютчева.

Однажды, к великому нашему восторгу, мистер Набоков нарисовал на доске бабочку. Она была гораздо больше, чем настоящая бабочка, и нарисована она была прекрасно, со всеми мельчайшими подробностями — усиками, глазками и прелестным рисунком крыльев.

Самым веселым, самым естественным и самым очаровательным способом Набоков открывал перед нами дверь и вводил нас в мир русской литературы. Он учил нас воспринимать ее всерьез, а тому, что обычно о ней говорится, не уделять внимания. Он вернул мне страсть к чтению.

Во время весенних каникул я читала «Войну и мир» — день за днем, с утра до вечера, сидя в уставленном книгами кабинете в нашем доме в Охайо; и, когда я кончила читать, я бросила книгу на пол, а сама упала на нее и плакала, прижавшись к ней лицом. Я плакала от самой книги и от того, что она уже дочитана и мне придется возвращаться в реальную жизнь. Я была в отчаянии.

Я по сей день храню этот экземпляр «Войны и мира» — растрепавшийся от многократного перечитывания, покособившийся от дождей, со строчками, подчеркнутыми бледно-лиловыми чернилами, которыми я пользовалась в то время; в начале книги таких подчеркнутых строчек очень много, а затем, по мере того как я погружалась в книгу и отрывалась от земли, они совсем исчезают.

Я вижу нас, какими мы были той зимой: Сара Джонс, Труды Ноултон и я — мы сидим рядышком в переднем ряду большой лекционной аудитории — как можно ближе к мистеру Набокову, — а сзади, в разных местах аудитории, поднимающейся амфитеатром, сидят остальные студентки — примерно сто девушек, в основном с предпоследнего и последнего курсов. Освободившись от своих теплых пальто, варежек, шарфов и шапок, мы сидим со своими зелеными, сшитыми стальными спиралями тетрадками, в клетчатых юбках из шотландки и в свитерах, надетых на белые блузки с круглыми отложными воротничками (как у Питера Пена), в толстых шерстяных белых носках (позже их стали называть «бобби-сокс», но мы тогда еще не

знали этого слова) и в коричневых мокасинах или бело-коричневых туфлях на низком каблуке, — и слушаем, записываем, скрестив ноги; и милое, сияющее лицо Сары устремлено вперед — она слушает мистера Набокова.

Звенел звонок, лекция кончалась, и все вскакивали и мчались прочь из аудитории. Я помню глухой стук двух сотен ног; и помню, что я тогда думала: «Какие же они тупые! Они думают, что все это неважно», — а мы трое сидели, как зачарованные, и не хотели никуда уходить.

— Мы хотим послушать это еще раз, — говорили мы. — Мы хотим слушать еще.

Мистер Набоков улыбался, польщенный, но собирал свои бумаги и спокойно уходил, не говоря ни слова.

К концу учебного года, когда наступил июнь и экзамены были позади, листья уже зазеленели, а дни сделались жаркими, и наша троица собиралась было расстаться на лето, мы шли однажды по узкой тропке вниз с холма от корпуса «Сэйдж» и встретили мистера Набокова, который поднимался нам навстречу. Взволнованные, изрядно смущенные, мы остановились, чтобы поздороваться с ним.

— Одна из вас сделала большие успехи, — сказал он

«Одна из вас сделала большие успехи, одна из вас сделала большие успехи», — пело, отдавалось у меня в мозгу: и кровь прилила к голове от радости и восхищения, не только потому, что я знала, что это именно я сделала большие успехи, но еще и потому, что он знал: это я была из нашей троицы.

Не думаю, чтобы мистер Набоков принимал нас всерьез. И уж, конечно, он не воспринимал нас всерьез как личностей. В конце концов, мы были всего лишь студентками колледжа. Конечно, это мы внушили Гумберту Гумберту (герою романа «Лолита» — профессору колледжа) такое бесконечное отвращение ко всем нам и ко всем таким, как мы.

И тем не менее мистер Набоков давал нам все, на что был способен, и мне кажется, что на самом деле он относился к нам — к большинству из нас — с легкой тревогой, со своего рода нежностью, которая вызывалась тем, что между его мироощущением и нашим лежала пропасть; он несколько озадаченно воспринимал то, что ему уготовила судьба: студенток американского колледжа. И все это сочеталось в нем с решимостью продолжать петь свою песню, продолжать рассказывать обо всем, что было для него свято в той России, которую он утратил, и в ее литературе, и в ее языке. Он бы продолжал делать

все это, независимо от того, слушали ли мы его или нет. Он бы продолжал делать это даже на неродном ему языке, как он сам выразил это в своем стихотворении «Вечер русской поэзии». Это грустное, изящное стихотворение, прекрасное и трогательное, доброе, полное юмора — стихотворение об изгнании, признание в любви к его утраченной России, стихотворение, в котором звучит та самая подлинная музыка стиха, о которой он говорил, рассказывая нам про Фета, — мелодия грусти, страстного влечения, человеческого восторга, которая таинственно изливается из рационально обдуманной ткани стиха этого поэта, мистера Набокова, который вынужден читать лекции Сильвиям, Эмми, Синтиям, Джоаннам.

